





# Правда безусловная и честная

Чехов не печатал статей по литературным вопросам, избегал публичных выступлений. Однако многочисленные его письма к известным и начинающим литераторам, к издателям, режиссерам и актерам не только раскрывают творческую лабораторию писателя, но и дают яркое представление о его взглядах на литературу.

«...Величайший мастер слова, уничтожающий критик буржуазно-помещичьего общества...» — писал о Чехове М. И. Калинин. Чехов расценивал литературу, как «дело народное». Продолжал лучшие демократические традиции своих великих предшественников Пушкина и Гоголя, высказывая мысли, во многом близкие Белинскому и Чернышевскому. Чехов был страстным сторонником реалистического направления в русской литературе. «Художественная литература, — писал Чехов, — по своему и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная».

Верность жизненной правде в понимании Чехова означала очень много. Чехов постоянно говорил о необходимости для литератора глубокого знания жизни, о том, что в создании типических характеров нужно «спроходить мимо всего, что имеет временное значение». Настоящий писатель должен раскрывать противоречия жизни, воевать «с уклонениями от нормы». Но при этом, утверждал Чехов, истинный художник всегда ведет читателя к определенной цели, в истинно художественном произведении читатель обязательно чувствует присутствие положительного идеала. Наличие ясной задачи Чехов считал необходимым для писателя: «Если отрицать в творчестве волею и намерением, то нужно признавать, что художник творит не преднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта. Если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только под вдохновением, то я назвал бы его сумасшедшим».

Отражение жизни во всей ее сложности и глубине в понимании Чехова несомненно с рабским копированием, с увлечением бытом, с любованием мелочами, с натурализмом. Продолжая общепринятую линию Гоголя и Салтыкова-Щедрина, он решительно отвергал бытописательство. Он говорил о трудности изображения обыкновенной жизни, обыкновенных людей, «низкой действительности»: «Про Сократа легче писать, чем про барышню или кухарку». Трудность заключалась в том, чтобы в обыкновенном, обыденном течении жизни раскрыть ее внутреннее содержание, подняться до широких обобщений. Занятия Чехова, стремящиеся подражать его внешним приемам — О. Дымов, И. Сургучев, Е. Чириков и др., — увлеклись бытом, забывая и об общепринятом нафоне творчества Чехова и о положительном чеховском идеале, ради которого писатель раскрывал противоречия действительности.

В Г. Борзенко с преобращением отзавеса о таких чеховских последователях: «У Чехова тон был правдивый: трагедия мелочей бралась с юмором, сквозь который просвечивало трагическое. Последователи хвататься прямо за трагедию, приподымая мелочи на неподходящую высоту — и выходит фальшь, отсутствие меры, а значит, и художественности».

Отмечая в творчестве некоторых своих современников опасность вырождения реализма в натурализм, Чехов, как и Борзенко, видел эту опасность в том, что мелочи заслоняли глубину и сложность противоречий действительности. Именно поэтому он так резко критиковал пьесу И. Леонтьева-Шеглова «Дачный муж». «Дачный муж», — писал он, — хочет и смешить, и трагедией пахнуть, и возво-

дить турнир на высоту серьезного вопроса». Мещанство, погрязшее в ничтожных бытовых дряблах, не способное к борьбе за человеческие счастье, лишненное светлых идеалов, было злейшим врагом Чехова. «Мещанским» называл он и тех писателей, которые «лестят узенькой добротели» обывателя и в творчестве которых скапливалось тяготение к идеализации средней мещанской среды... Рассматривая литературу, как дело большого общественного значения, Чехов непримиримо относился к декадансам, осуждал их за уход от действительности, говорил о негодности «эросейских Метерликов», у которых нет ни будущего, ни прошлого.

«Все нашумевшее, искоманное, бьющее на эффект и оригинальность, было глубоко враждебно великому искусству. Так, например, одно из произведений Л. Андреева не расценивал как «некто претенциозное, псевдоблагодетельное и, повидимому, ненужное...».

Высказываясь против декадентской литературы, Чехов отчетливо понимал смысл всяческих попыток буржуазной беллетристики увести читателя от жизни. Он не столько осуждал романы, которые имеют целью «убаюкать буржуазию и ее золотых снах... Буржуазия очень любит так называемые „позолоченные“ типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на миг, так что можно и капитал называть и невнимательно соглядать, быть зпером и в то же время счастливым».

Не в этом убаюкивании, не в удовлетворении буржуазных вкусов видел Чехов задачу истинного искусства: «Литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный своим знанием своего долга и совестью», — писал Чехов, требуя от литературы служения народу.

«Ветными или просто хорошими» называл он тех писателей, творчество которых пропитано, «как соком, сознанием цели», в произведениях которых читатель чувствует «кроме жизни, какая есть», «еще ту жизнь, какая должна быть». С величайшим презрением говорил он о тех, «кто искренно думает, что вышние и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как коньяк, что в этих целях „всё на белом“». Уничтожающей иронией звучат слова писателя о позолоченных людях, которые «себяستا кушать, пить, спать или, когда это надост, разбегаться и хватить лом об угол сундука».

Творчество самого Чехова было действительно «пропитано сознанием цели», стремлением к новой, счастливой жизни, верой в то, что приближать ее можно непримиримой борьбой с мещанством, ложью, обывательским равнодушием, властью денег — всеми устоями буржуазного строя.

В искусстве Чехов видел силу, способную воздействовать на читателя, активизировать его. В этом и заключен смысл реализма: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, какой он есть».

Вместе с тем писатель признавал серьезное значение создания образа положительного героя, способного вдохновить читателя. В положительном герое Чехов видел важнейшее средство донести до читателя идеал писателя, показать человека таким, каким он должен быть. Вот почему он так пристально выматывался и людей, искал в самой окружающей его жизни примеры, достойные подражания. «Если положительные типы, создаваемые литератором, составляют ценный воспитательный материал, то те же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены», — писал он о великом русском

художественном методе Художественного театра — великое завоевание нашей культуры, один из краеугольных камней, на которых строится советское театральное искусство. Надо поддаться всяческим усехам М. Кларову и его товарищам в дальнейшем развитии «системы». Но эта теоретическая, лабораторная работа должна быть непрерывна от творческой практики театра — в этом также завет Станиславского.

Трудно представить себе, что режиссер и артисты МХАТ не тревожат положению театра. Но кажется, что притупилось у них чувство самокритики и появились «академические», в плохом смысле этого слова, маститость, уверенность в своей непогрешимости.

И здесь надо говорить еще об одной причине того, почему Художественный театр переживает трудности. Мне кажется, эта причина заключается в том элементарном, которое мы так нерассчетливо расточаем по адресу театра.

В самом деле: как откликнулась наша литературная и театральная общественность на трудности, которые испытывает театр, как помогла преодолеть их?

Надо признать, что мы сделали многое для того, чтобы усугубить эти трудности. Мы не хотели забыть прославленный театр критикой и обидой его равнодушием. Глубоко нырвали были, например, А. Фадеев и И. Бальмонт, стремившиеся на XIV пленуме правления Союза писателей отгородить Художественный театр от критики. Именно так создавался противостоятельный в нашем обществе точка зрения, была критикована творчество замечательного театра — значит посылать на его славу. Это неверно. Запрещено внимание литераторов и деятелей искусства к жизни Художественного театра, готовности, стремление драматургов работать для него, дружеская требовательная критика его работы, наконец, полностью коллективное художественное руководство в театре — вот что действительно необходимо.

Сил у него для этого более чем достаточно. Они не только в великодушном, вечном традициях МХАТ, но в тех замечательных своей правдой спектаклях, которые мы видим и сейчас, в совершенном творческом методе, в дарованиях лучших художников сцены. А есть еще одна, огромная сила Художественного театра: любовь и уважение советских зрителей к нему, вера в его искусство.

Жоелаем же Художественному театру преодолеть трудности, вставшие на его пути. Место МХАТ — на вышке советского театрального искусства.



Вспомнил он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой... Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы — хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что лил, лежал, дрался. Так и пропал сорок лет. (Иллюстрация художника Куркрякис к рассказу А. П. Чехова «Горь»)

# МАЛЕНЬКАЯ ТРИЛОГИЯ

Три чеховских рассказа «Человек в футляре», «Крыжовник» и «0 любви» (1898 г.) составляют своеобразную трилогию. Каждый из трех главных героев — учитель гимназии Буркин, ветеринарный врач Иван Иванович Чинча-Гималайский, помещик Ахлекин — раскрывается по истории: один — о своем знакомом человеке в футляре, другой — о своем брате, который решил «запереть себя на всю жизнь в собственную „усадьбу“, третий — о самом себе, о том, как он прогледил свою любовь и счастье.

Тема «футлярной» жизни может быть в полном смысле слова названа одной из сквозных, центральных тем в творчестве Чехова. Она звучала в рассказе «Учитель словесности» (1894 г.), в котором Никитин описывает бездарного и безличного педагога-чиновника, преподавателя греческого языка (вспомним, что «человек в футляре» преподавал тот же предмет). Сходный образ возникает в одном из чеховских эссе — «Шульц». Здесь изображен ученик первого класса Костя Шульц. Он играет в гимназии, а впереди него идет учитель — «в цилиндре и в высоких кожаных сапогах, соединивших вид и характер, как кажется, строго и неумолимо скрупулозно по тротуару. Сколько мог взять сапожник за эти калоши, и думал ли он, когда шил их, что они будут так хорошо выражать характер человека, который их теперь носит?». В этом наброске детали, рисунок внешнего облика персонажа, выразительно намекает на его характер. Примерно в то же время, к которому относят этот рассказ, в 1896 году Чехов записывает в дневнике в одном журнальце, гостившем у него: «М. в субботу уходит в калоши, носит зонтик, чтобы не погнбить от солонного удара, чтобы уменьшав холодную водой, жалуетесь на замерзание сердца».

Это, казалось бы, прелесть зарисовка, но в ней есть нечто художественное обобщение. Векоре в записной книжке Чехова появляется такая запись: «Человек в футляре, в калошах, зонтик в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, казалось, улыбался: нашел свой идеал». Это уже не дилемная запись, но типичный образ.

Интересно, что между двумя этими записями находится слова Чехова: «Если человек присоединяется к делу, ему нужно, например, к искусству, то он, как невозможно стать художником, неминуемо становится чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, театра и жизни, надев вицмундиры! То же самое, кому больше жизни, кто не способен к ней, тому жизнь ничего не остается, как стать чиновником».

Так с разных сторон подходил Чехов к образу не способного к жизни чиновника. Беликов дерогит в страхе окружающих людей. В то же время жизнь страшило его самого: «Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге...».

Щедрынский Угрюм-Бурчнев не боялся жизни, он был индигически непреклонен: «Тогда ревнивец, — и ничего более». Он лихо командовал, велел идти вперед по прямой, сметая с лица земли все, что не успевало поспешить, вытеснял в сторону реку, нарушавшую своим извмением движением геометрической правильности угрюмо-бурчневскую прямолинейность. Не совладав с рекой, он строит город в другом месте, но страх, кажется, так и не коснулся этого облеченного властью идиота.

«Человек в футляре» принадлежит уже иной эпохе, когда явственной обозначилась историческая общность всего самодержавного, угрюм-бурчневского царства. Непредельная ревнивец начинает уступать место страху перед действительностью. В беликовском «футляре» — в одежде, домашней обстановке, ставнях, задвигаемых — во всем прежде всего чувствуется стремление спрятаться от жизни, уйти, как улитка в скорлупу. Вот почему гроб для него — самый идеальный «футляр».

В конце рассказа, когда Буркин, предав Ивана Ивановича, предложил отравиться спит и все захлоп, вдруг раздается чья-то шаг: туп... «Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп...» — «Этот Марра ходит», — говорит Буркин. Только что перенала разговор о футляре, но, кажется, сама жизнь продолжает его, напоминая о деревенской женщине, которая всю свою жизнь ходит, словно на короткой привязи, вокруг одного места: туп, туп... Такова сила чеховского мастерства: ничто не сказано как будто, только слышатся тупы, короткими шагами, но о многом говорит один читатель, они натакаивают его на мысль: темнота и невежество людей из народа — это тоже футляр. Так словно расходятся друг к другу от удара камня. Все новые стороны жизни охватываются образом — «человек в футляре». И слова: «Нет, больше жить так невозможно!» — уже звучат, как голос самой жизни.

Что за «познательную историю» хотел поведать Иван Иванович в связи с рассказом Буркина? Ей посвящено второе произведение трилогии — «Крыжовник». Оказывает, продолжая начатый разговор, Иван Иванович намерелся рассказать о человеке, который всю свою жизнь мечтал только об одном — о собственном крыжовнике. Лейтмотив первого рассказа — «больше жить так невозможно!» Главная мысль второго рассказа: «Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на протопее он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».

В соответствии с этим и строится весь рассказ. Если своего рода «свертывор» к разговору о человеке в футляре служат Иван Иванович, то здесь уже совсем иное начало: Буркин и Иван Иванович далеко ушли от села, где остановились в прошлый раз; рассказ открывается пейзажем: «Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Миронеское, справа тонула и потом исчезал далеко за островом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там дуга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то откуда видны такие же громадные поля, телеграф и поезд, который издала поехом на подступающую гусеницу, а в ясную погоду откуда бынает виден даже город». Так с начала Чехов словно раздвигает рамки повествования, открывает читателю то, чего так и не увидела бедная Мавра. Казалось бы, совсем обыкновенная житейская подробность: в «Человеке в футляре» действие происходит ночью в сарае, а здесь герои вышли на простор. Но задумаемся — как подходить этот темный сарай для разговора о Мавре, о Беликове, о «футляре» и как оправдана картина вольного простора для второго рассказа! Поэтическая мысль Чехова обнимает собой простор все шире и шире, и вот уже образ всей родной страны передает нам. Не случайно дальше идут слова: «Теперь, в тихую погоду, когда вая природа казалась кроткой и задушевной, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна».

И когда открывается такая перспектива, такая глубина видения, маленьким и жалким кажется взлетев усадьбу с крыжовником — Николай Иванович Чинча-Гималайский. Этот образ так же противостоит самой жизни, как и его духовный собрат — человек в футляре. Тот нашел свой идеал в гробу, а об этом Чехов в записной книжке говорит так:

«Человеку нужно только 3 аршина земли.  
— Не человеку, а трупу. Человеку нужно жить земной шар».

Любопытно, что эти слова находятся рядом с записью: «...Когда лежал в гробу, то казалось, улыбался: нашел свой идеал». И Беликов и Чинча-Гималайский — фигуры типические для жизни того времени. И вместе с тем это — существование, обреченные на гибель. Они связываются в сознании писателя с образом смерти.

Знакомые с черновыми записями к «Крыжовнику», мы снова приближаемся к самому процессу рождения образа. Выназает Чехов, набрасывая вкратце историю покупки имени, пишет: «Через 2—3 года, когда у него рак желудка и подходит смерть, ему подают тарелку его крыжовник. Он поглядывает равнодушно». Затем такой вариант: «Глядя на тарелку с крыжовником, он видит все, что дала мне в конце концов жизнь». Несколько страницами ниже: «Крыжовник был кисел; Как глупо, сказал чиновник и умер».

Как видим, во всех этих вариантах чиновник перед смертью открывалась все пустота и бессмысленность жизни. Но писатель отказался от такой трактовки. В рассказе Чинча-Гималайский уже не чувствует, что крыжовник кисел, не говорит: «Как глупо», он распыляется в самолично-счастливый эликсир, чуть не плачет от радости и с наслаждением ест спелый, вкусный, но зато свой, собственный крыжовник. Такая развязка сильнее передает силу собственного чеховского самозовольства. Чинча-Гималайский утрадил человеческий облик, даже внешне: «сидел, расчленил, образ; шкей, нос и губы тянулись вперед, — того и гляди хрюкает в одежде». И, может быть, самое страшное в нем — сытость, надья, ничем не приобретаемая, его угрюбое равнодушие во всем, что выходит за пределы его усадьбы.

Равнодушие выстает здесь не просто как черта характера, но как форма чеховского существования, предопределенная собственническим укладом. «Деньги, как вода, делают человека чужаком», — замечает Иван Иванович и рассказывает о купце, который перед смертью съел все свои деньги с медом, чтобы никому не достались, и еще об одном баранишке, которому поездом отрезало, а он все прошил, чтобы ногой отскадал, — там, в сапоге, деньги, двадцать рублей, как бы не пропали. В соответствии с этими эпизодами Николай Иванович уже не кажется каким-то сверхъестественным чудяком, в самой судьбе его начинает проступать закономерность; история с крыжовником предстает, как рассказ о том, что складал с человеком деньги, собственность, имущество. И характерно, что Буркин, более ограниченный, чем Иван Иванович, не премудит тут своего первенства: «Этот вы уж из другой оперы». Так открывается новая грань в теме «футляра» — это и беликовский бозик жизни, машинальная мнительность, и вместе с

тем «футляр» — это собственническая сытость, самозвольство.  
Глубоко предопределенной, внутренне закономерной оказывается эволюция взглядов Николая Ивановича. Он уже забывает, что отец его — солдат, дел — мужик, говорит: «Мы дворяне», проповедует телесные наказания, считает, что образование хотя и необходимо, но для народа преждевременно. В одной из черновых записей читаем: «Крыжовник!» от сытости начинается либеральная умеренность». И далее: «Умеренный либерализм: нужна собака свобода, но все-таки ее нужно на цепи держать».

Решая загадку «футляра», чеховского равнодушия, Чехов с глубочайшей художественной зоркостью видит связь между «сытостью» и «либеральной умеренностью», между положением человека в обществе и его взглядами.  
В «Крыжовнике» рассказывает о собственнике, потерявшем облик человеческого; одновременно с этим звучит в произведении тема пробуждения человека. «Но дело не в нем, — говорит Иван Иванович брате, — а во мне самом. Я хочу Вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе». И далее: «В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доведен и счастлив... Я тоже, как обомел и на охоте, поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. И тоже говорил, что ученые свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подогреть».

Значит, и в самом Иване Ивановиче тоже был кусочек «футляра», частица собственнического самозовольства. Он тоже общими словами, внешне довольно либеральными, в сущности, отгораживался от главного — от мысли, что дальше так жить невозможно. Он тоже терпел все это строй и уклад жизни, где счастье одних основано на несчастье других, где «счастливые» чувствуют себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчаливое счастье было бы невозможно», терпел и пользовался благами такого порядка и отдался на и к чему не обывательскими пожеланиями свободы. Вот чем невинно были Чехову такие люди, как Лева Волчанникова из «Дома с мезонином» — они мирятся с главным, с общим порядком, основанном на угнетении большинства людей меньшинством, и ограничивались крохоборскими мерами.

Вот с этой-то буржуазной «постепенностью», с этим принятием с существующими порядками и порокает теперь Иван Иванович. И противопоставляет он всему этому индигическо не уклад в демократическую правдоу, не ластовское «сопротивление», но призывает изменить весь порядок вещей: «Мне говорит, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательство, что это справедливо? Вы соглашаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою над рвом и жду, когда он зарастет сам, или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перекопать через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить?»

Такова перемена, происшедшая с Иваном Ивановичем, душевный переворот, открывший ему глаза на действительность. Герой уже вплотную пошел к убеждению, что назрела необходимость изменить весь существующий строй и порядок жизни.

Третий рассказ — «0 любви» — по началу не связывается с первыми двумя. Помещик Ахлекин говорит о любви, которая так и прошла стороной, ничего не изменив в его жизни. «Будя бы я мог увести ее? — говорит он сам о любимой женщине. — Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы, например, боролся за освобождение роля, или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же, или еще более будничную».

А жизнь у Ахлекина действительно будничная, бесцветная. С утра до вечера он возится в своем имении, нигде не бывает, ничего не видит, — помнить некогда. Выслушав его грустный рассказ о любви, Буркин и Иван Иванович делают, что «этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал мне с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой, или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной...» Любовь Ахлекина потеряла порождение потому, что сам он оказался недостойн этой любви. Он вытесняет оправдать себя, но Чехов его не оправдывает: он судит своего героя за то, что тот спасал, отступился от любви, подчинился ничтожной жизни.

Маленькая чеховская трилогия несет в себе большую тему отрицания современного писателю собственнического порядка. Мы не найдем здесь прямого призыва к революции, да и вообще речь-то как будто идет лишь о жизни и быте отдельных людей. Но огромная сила этой трилогии в том, что она показывала, как в разных сферах жизни, в самых, казалось бы, далеких от большой политики уголках, зреет мысль: больше так жить невозможно, буржуазный строй несомненно с чеховностью, с позвией, с любовью. Такая жизнь убивает человека, значит, она не имеет права на существование. Рисую жизнь разных людей, заключенных в «футляр», в скорлупу, кружащихся, как белка в колесе, Чехов звал к тому, чтобы разбить «футляр», положить с жизнью-тьермой и вырваться из имений с крыжовником на вольный простор, где человек мог бы проявить все свойства своего свободного духа.

Три человека поведали три истории, звучащие, как отрицание той жизни, которую они продолжают вести. А за этими тремя образами поднимается образ самого писателя, молодого души, богатого и любовью и новизной, противостоящего всему этому собственническому миру приговоро — суровый и беспощадный.

3. ПАПЕРНЫЙ

